

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ
ВВЕДЕНИЕ

Петр Вяземский

Автобиографическое введение

«Public Domain»

1878

Вяземский П. А.

Автобиографическое введение / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1878

«Вероятно никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего написанного мною в прозе, в течение шестидесятилетия и более. Это уже не в чужом, а в собственном миру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	9
-----------------------------------	---

Петр Вяземский

Автобиографическое введение

Вероятно никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего написанного мною в прозе, в течение шестидесятилетия и более. Это уже не в чужом, а в собственном миру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался.

В наше скороспелое и торопливое время такое позднее появление довольно любопытно. У нас издаются книги только что вчера дописанные; листы высохнуть еще не успели: кажется, не только у нас, но и везде иные издают книги, которые только завтра напишутся, а пока спешат издать в свет пробные листы. Что до меня касается, следует еще заметить, что предлагаемое ныне собрание сочинений моих предпринято не по моему почину и, так сказать, от меня заочно. Благоприятеля предложили, а я согласился. Как и почему согласился я, читателям и публике знать в подробности не нужно. Это – дело домашнее. Впрочем, не один раз друзья мои убеждали меня собрать и издать себя. Кажется, и посторонние лица, и даже литературные недоброжелатели мои удивлялись, с примесью некоторого сожаления, что нет меня на книжном рынке. Дело в том: в старое время, то есть когда был я молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал. Далее, когда деятельность литературы нашей начала сходить с пути, по которому я следовал, и приняла иное направление, на вызов издать написанное мною и разбросанное по журналам отвечал я: «Теперь поздно и рано». *Поздно* – потому, что железо остыло, а должно ковать железо, пока оно горячо, то есть пока участие читателей еще живо и сочувственно, пока не развлеклось оно новыми именами, новыми приемами. *Рано* – потому, что не настала еще пора, когда старое так состарится, что может показаться новым и молодым. По неизменному житейскому порядку и круговращению так бывает во многом: жизнь и история налицо – они засвидетельствуют правду этих слов. Легко может статься, что многое из ныне животрепещущего и господствующего не переживет века и дня своего. Другое, ныне старое и забытое, может очнуться позднее. Оно будет источником добросовестных изысканий, училищем, в котором новые поколения могут почерпать если не уроки, не образцы, то предания, не лишённые занимательности и ценности не только для нового, настоящего, но и для будущего. Слова: прошедшее, настоящее, будущее – имеют значение условное и переносное. Всякое настоящее было когда-то будущим, и это будущее обратится в прошедшее. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении; но тут нет еще доказательства, что оно устарело; оно только вышло из употребления. Это так, но запрос на него может возродиться. Антикварию, продавцы старой мебели, старой утвари также удачно торгуют старьем, как и соседняя с ними лавка сбывает свой свежий и по последнему требованию изготовленный товар. Одно здесь условие: старое должно иметь свою внутреннюю и весовую, или художественную, ценность. В таком товаре есть большая, неувядаемая живучесть. Отлагая в сторону стыдливую скромность и не подвергая себя упрекам в излишней гордости, полагаю, что предлагаемый здесь товар не лишен, в некоторой степени того и другого свойства. Следовательно, и моя речь впереди. Стоит только дожидаться удобного часа, а он пробьет уж без меня, но пробьет. Впрочем, некогда и я имел свои час, и часы были еще с трезвоном и курантиками. Поздняя старость имеет право говорить о себе в третьем лице. Старик в собственных глазах своих уже не *я*, а *он*. В таких условиях выхожу пред общественное судилище. Доволен буду я и малочисленным одобрительным вниманием некоторых читателей; равнодушен буду, – по крайней мере, так мне кажется, пока я еще в кулисах и на сцену не вышел, – к строгим приговорам других судей, тем более что этот суд будет что-то вроде посмертного суда. Меня вполне живого он уже не застигнет. На долгом веку моем

был я обстрелян и крупными похвалами и крупной бранью. Всего было довольно. Выдержал я испытание и *заговора молчания*, который устроили против меня. Я был отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого забыли, глубокое молчание. Что же? Все ничего. Не раздобрел, не раздулся я от первых, не похудел – от других. Натура одарила меня большою живучестью и телесною и внутреннею. Это может быть досадно противникам моим. Прошу у них в том прощения, но делать мне нечего. Я здоров своим здоровьем и болен своими болезнями. Чужие не могут придать мне здоровья, не могут со стороны привить мне и недуги. Злокачественные поветрия и наития бессильны надо мною.

Как бы то ни было, вот являюсь я весь налицо. Был старый чиновник; он прошел долголетнее служение и получил заслуженные им знаки отличия. Но он не носил на себе этих знаков, не развешивал их на шее и груди своей. Он держал их за образом, пред которым теплилась неугасимая лампада. Он берег эти кресты на день погребения своего. Без суеверия и страха, сдается иногда и мне, что я выступаю с литературными регалиями своими на прощание с авторскою жизнью и со всякого другою. Эти регалии улягутся на подушках, которые будут сопровождать мой гроб. Мир им и мне!.. Скажу, что Карамзин сказал в надгробной надписи, в 1792 году, в год рождения моего; это также живая старина:

Покойся, милый прах, до радостного утра.

Я верую в утро и воскресение мертвых, следовательно, и в свое.

I

Заговорив о себе немножко, хочется поговорить еще более. Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью. Пьяница может на некоторое время наложить на себя трезвое пощенье; но попадись на язык его капля вина, он снова предается запою. Так первая капля крови действует на некоторых зверей, к сожалению, и на некоторых людей. Эта капля пробуждает свойственную им кровожадность. Недаром говорил Фридрих Великий, что в каждом человеке таится тигр. Ему верить можно. Он в свое время был и великий проливатель крови и великий проливатель чернил. Радуюсь, что судьба поставила меня в возможность подражать ему только в последнем отношении.

Вот в чем дело. Полное издание сочинений писателя есть, так сказать, и выставка жизни его. К выставкам прилагаются обыкновенно указатели и пояснительные каталоги. Так хочется поступить и мне. К выставке моей считаю нелишним, приложить некоторые отметки к комментарию. Это будет род авторской исповеди: смесь свидетельства о рождении, литературного формулярного списка и предсмертного духовного завещания. Сам не знаю, что из всего этого выйдет. Но что-нибудь да выйдет. Дам волю памяти своей и старческой болтливости.

II

С тех пор, что помню себя, во мне проявлялись и копошились какие-то бессознательные зародыши литературные и авторские. Например, во время оно «Московские Ведомости» выходили два раза в неделю, по средам и субботам. Я всегда караулил появление их в доме нашем и с жадностию кидался на них. Но искал я не политических известий, а стихотворений, которые в них изредка печатались. Более всего привлекали меня объявления книгопродавцев о выходящих книгах. Читал я эти объявления с любопытством и благоговением, тем более что объявления писались тогда витиевато и кудряво. Вывали еще объявления от переводчиков, которые предостерегали совместников своих, чтобы они не брались за перевод такого-то романа, потому что он уже переводится и скоро поступит в продажу: эти объявления заставляли трепе-

тать мое сердце. Я завидовал счастливым, которые переводят. Должно сознаться, что не одни книжные оповещения обращали детское внимание мое. В «Московских Ведомостях» зачитывался я и прейскурантов, виноторговцев, особенно нравились мне поэтические прозвания некоторых вин, например, *Lacryma Christi*¹ и другие, равно благозвучные. Тут, может быть, пробуждалась и звенела моя поэтическая струна, а может быть, просто, но все-таки поэтически, отзывалось предвкушение, или предчувствие, что некогда буду и я с приятелями моими, Денисом Давыдовым и графом Михаилом Вьельгорским, равнодушным ценителем благородного сока виноградных кистей. За давностию времени, не берусь решить, кто тогда брал верх надо мною: Аполлон или Вакх. Помнится мне, что еще прежде находил я удовольствие и даже наслаждение в первоначальном чтении по складам. Сочетание азбучных букв в один звук ласкало мой музыкальный слух. Вообще детская память моя очень чутка. За последующие годы она слабее и безответнее. Помню, как дядька мой, Lapierre, секал меня, четырех- или пятилетнего мальчика, бритвенным ремнем в Нижегородском генерал-губернаторском доме. Лет тридцать спустя, если не более, заходил я в этот дом, и, кажется, узнавал комнату, в которой совершалась экзекуция надо мною, и припоминал ее вовсе без злопамятства. Да, милостивые государи, меня секли ремнем, и после несколько раз секали розгами, однажды, и собственными руками отца моего, за персик, который я тайно присвоил себе и съел. Впрочем, не за лакомство свое был я наказан, а за ложь, то есть за то, что не хотел признаться в проступке своем. Мне было тогда лет восемь или девять. Не помню, плакал ли я под розгами, но помню слезы на глазах отца. Сознаюсь в том и убежден я, что эти наказания несколько не унизили характера моего. О наказаниях много ныне толкуют, но не доходят до того заключения, что почти все наказания свойства более или менее физического или телесного. Содержание в тюрьме, ограничение пищи, приневоливание к работам: разве все это нравственные наказания? Нет, это те же розги, бичующие тело. Станные понятия в умозаключении наших филантропов. Они допускают нравственные наказания: унижение, пристыжение самолюбия в достоинстве человека, гласное, публичное посрамление, ошельмование человека; но крепко стоят за неприкосновенность тела: спины его и других частей. Но разве тело почетнее и выше нравственных и духовных свойств человека? Сколько несостоятельности, неблагоприятия, противоречий в человеческих понятиях и соображениях! Как много суеверия и суесловия в иных *принципах*, в так называемых системах и учениях. В учебных заведениях среднего разряда телесные наказания торжественно отменены. Это событие празднуют, как погашение огней инквизиции в Испании, или взятие и разрушение Бастилии в Париже. Не спорю, что, может быть, бывали, даже и положительно бывали, злоупотребления в праве и обычае подвергать учеников телесным наказаниям, но нет сомнения, что эти злоупотребления бывали редки: бывали прискорбным исключением, а не общим правилом. Впрочем, вспыльчивый, заносчивый, раздражительный, несправедливый учитель и наставник могут и невооруженные розгами пагубно действовать на учеников, вверенных заботливости их. Могут они оскорблять их и зарождать в них чувства непокорства и злобы одними обидными словами, одним суровым и беспощадным обращением с этим чутким, впечатлительным и часто злопамятным возрастом. Но за то ныне, при новых порядках, за шалость, которая, в доброе старое время, вызвала бы на шалуна домашнюю, семейную, патриархальную расправу, в уверенности, по русской поговорке, что до свадьбы заживет, ныне, вместо розог, и за неимением других под руками средств, отрока-шалуна выгоняют и исключают из заведения, то есть разом губят его настоящее и будущее его. Родители, отдавая детей своих в училища, в праве предполагать, что эти заведения не только учебные, но вместе с тем воспитательные и образовательные. Они, так сказать, передают начальству заведения обязанности и права свои в отношении к своим детям. Какой добросовестный и благоразумный, не говоря уже чадолубивый и нежный, отец решится за шалость, и даже за проступок, выгнать сына своего из родитель-

¹ Слеза Христа; здесь: вино с подножья Везувия (лат.).

ского дона и бросить его на улицу? Таким поступком доказал бы он, что не умеет быть отцом и не достоин быть отцом. На то и дети и отроки, на то и обязательное попечение о них, чтобы мерами нежной и неусыпной наблюдательности и строгого взыскания развивать в отрочестве зародыши и отрасли всего хорошего и отсекал – без каламбура – худые и пагубные отпрыски и наросты. Само собою разумеется, что о жестокости в наказаниях здесь и речи быть не может. Такая жестокость, явно уличенная, должна быть строго преследуема и караема законом, как в домашнем, так и во внедомашнем воспитании, подобно тому, как взыскивается законом за всякое умышленное насилие, или увечье, нанесенное другому. В краткое и, откровенно сознаю, почти бесполезное прехождение мое по министерству просвещения, я всегда, по возможности, протестовал против подобных изгнаний из учебных заведений. Чтобы не приписывали мне более того, что я действительно думаю, нужным считаю договорить, что вовсе не выставляю себя присяжным защитником розог. Не полагаю, что в них заключается единственно спасительное пособие воспитания; но также не полагаю, чтобы совершенная отмена их была вполне плодотворная и радикальная мера. Разумеется, после отмены их, мудро и, может быть, опасно возвратиться к ним. Но человеческий род так создан, что для многих и во всех возрастах страх наказания нужен. Если достаточно было бы благодетельной силы слова, чтобы человека вполне приучить в одному добру и отучить от всякого зла, то, кажется, лучше евангелия уже ничего придумать нельзя. Но и оно не всех направляет и не всех исправляет, а потому позволю себе сказать в заключение, что педагогии и ныне не следует, по этому вопросу, отдохнуть на лаврах своих и притупившихся розгах. Сей вопрос, как говорится, остается пока еще открытым. Много можно сказать *за* и многое *против*.

Вообще в детстве моем учился я лениво и рассеян. Во мне не было никакого прилежания и после мало было усидчивости. В уме моем нет свойства устойчивости. Мой отец, вероятно, заметивший этот умственный недостаток, хотел одолеть его и подчинить дисциплине математического учения. Хотел уговорить меня, так сказать выпрямить и отрезвить в умственной гимнастике цифр. Но усилия его были напрасны. Я не поддавался. Математика в детстве и отрочестве моем была мне пугалом. Позднее осталась она для меня тарабарскою грамотою. Несмотря на то, многие из зрелых годов жизни моей провел я по ведомству цифирному: то по делам внешней торговли, то по управлению государственным заемным банком; по счастью, ни тут, ни там при мне обмолвки в итогах не было. Бог охраняет невинность. Такие встречаются в жизни противоречия и несоответственности. Родитель мой хотел сделать из меня математика, судьба сделала меня стихотворцем, не говорю: поэтом, ради страха иудейского и из уважения к критикам моим, которые заключили, что я не совсем поэт, или совсем не поэт. Кажется, они тоже говорят и о Дмитриеве. Это меня утешает. Кстати о нем. Он, бывало, говорил, шутя, что Аполлон внушил мне страсть к стихам назло отцу моему и в отмщение однофамильцу нашему, екатерининскому кн. Вяземскому, за то, что он преследовал Державина. Отца огорчала моя рассеянность или *развлекательность*:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.